

| ПОСЛЕСЛОВИЕ |

Проезжая мост, я часто мучаюсь одним и тем же видением.

...Святой Спас стоит на двух берегах. На одной стороне реки — наш дом. Мы ежесубботне ездим на другую сторону побродить меж книжных развалов в парке у набережной.

За лотками стоят хмурые пенсионеры, торгующие дешёвой сурового вида классикой и дорогой “макулатурой” в отвратных обложках.

Большим пальцем левой руки я приподнимаю корки разложенных на лотке книг. Правую руку держит мой славный приёмш, трёхлетний господин в красной кепке и кедах, обильно развесивших белые пухлые шнурки. Он знает несколько важных слов, умеет хлопать глазами, у него богатая и честная мимика, мы в восторге друг от друга, хотя он этого никак не выказывает. Мы знакомы уже полтора года, и он уверен, что я его отец.

Сидя на набережной, мы едим мороженое и смотрим на воду. Она течёт.

— Когда она утечёт? — спрашивает мальчик.

“Когда она утечёт, мы умрём”, — думаю я и, ещё не боясь напугать его, произношу свою мысль вслух. Он принимает мои слова за ответ.

— А это скоро? — видимо, его интересует, насколько быстро утечёт вода.

— Да нет, не очень скоро, — отвечаю я, так и не определив для себя, о чём говорю — о смерти или о движении реки.

Мы доедаем мороженое. Он раскрывает рот, чтобы сцапать последние, сладко размякшие, выдавленные из вафельного стаканчика сгустки мороженого. Раскромсанный и смятый, в белых каплях стаканчик доедаю я.

— Кусьно, — констатирует малыш.

Вытираю ему платком липкие лапки, почему-то в грязных потеках липкие щёки и поднимаюсь уходить.

— Давай ещё подождём, — предлагает он.

— Чего?

— Подождём, пока утечёт.

— Ну давай.

Он сосредоточенно смотрит на воду. Она всё ещё течёт.

Потом мы садимся в маршрутку, маленький автобус на двадцать персон плюс водитель, виртуозно рулящий и одновременно обилечивающий пассажиров. Во рту его дымится сигарета, но пепел никогда не упадёт ему на брюки, а рассыплется за окном, на ветру.

Иногда я сомневаюсь в мастерстве водителя. Когда мы, двое очаровательных мужчин, я и приёмыш, путешествуем по городу, я сомневаюсь во всём. Я сомневаюсь в том, что цветочные горшки не падают с бал-

конов, а дворняги не кидаются на людей, я сомневаюсь в том, что оборванный в прошлом месяце провод телеграфного столба не даёт ток, а канализационные люки не проваливаются, открывая кипящую тьму. Мы бережёмся всего. Мальчик доверяет мне, разве я вправе его подвести?

В том числе я сомневаюсь в мастерстве водителя маршрутки. Но сказать, что я сомневаюсь, мало. Ужас, схожий с предсмертными ощущениями, сводит мои небритые скулы, и руки мои прижимают трёхлетнее с цыплячьими косточками тело, и пальцы мои касаются его рук, мочек ушей, лба, я проверяю, что он тёплый, родной, мой, здесь, рядом, на коленях, единственный, неповторимый, смешной, строгий, и он отводит мою руку недовольно — я мешаю ему смотреть, как течёт: мы едем по мосту.

И меня мучает видение. Водитель выносит руку с сигаретой, увенчанной пеплом, за окно, бросает мимолётный взгляд в зеркало заднего вида, пытаюсь прикинуть, кто ещё не заплатил за проезд... Правая нога машинально давит на газ, потому что глаза его сотую часть секунды назад уже передали в мозг донесение о том, что дорога на ближайšie сто метров пуста — все легковые машины ушли вперёд. Он выносит руку с сигаретой, давит на газ, смотрит в зеркало заднего вида и не знает, что спустя мгновение его автобус вылетит на бордюр. Быть может, автобус свернул из-за того, что колесо угодило в неизвестно откуда взявшуюся яму, быть может, на дорогу выбежала собака и водитель неверно среагировал — я не знаю.

Визг женщины возвращает глаза водителя на дорогу, которая уходит, ушла резко вправо, и он уже не

слышит крика пассажиров, он видит небо, потому что маршрутка встаёт на дыбы и, как нам кажется... медленно-но... но на самом деле мгновенно, — отвратительно, как воротами в ад, лязгнув брюхом о железо ограды, то ли переваливается за неё, то ли просто эту ограду сносит.

Вода течёт. До неё тридцать метров.

Я увидел всё раньше, чем закричавшая женщина. Я сидел рядом с водителем, справа от него, на этом месте должен бы сидеть кондуктор, если б автопарк не сэкономил на его должности. Я всегда сажусь на место отсутствующего кондуктора, если я с малышом. Когда я один, я сажусь куда угодно, потому что со мной никогда ничего не случится.

В ту секунду, когда водитель потерял управление, я перехватил мальчика, просунув правую руку ему под грудку, и накрепко зацепился пальцами за джинсу своей куртки. Одновременно я охватил левой рукой тот поручень, за который держатся выходящие пассажиры, сжав его между кистью и бицепсом. В следующую секунду, когда автобус, как нам казалось, медленно встал на дыбы, я крикнул водителю, тщетно выправляющему руль и переносящему ногу с газа на тормоз:

— Открой дверь!

Он открыл её, когда автобус уже падал вниз. Он не подвёл нас. Хотя, возможно, он открыл её случайно, упав по инерции грудью на руль и в ужасе упершись руками в приборы и кнопки. Несмотря на крик, поднявшийся в салоне, — кричали даже мужчины, только мой приёмьш молчал, — несмотря на то, что с задних сидений, будто грибы из кошёлки, на лобовуху салона загремели люди и кто-то из пассажиров пробил голо-

вой стекло, итак, несмотря на шум, я услышал звук открываемой двери — предваряющийся шипом, завершившийся стуком о поручень и представляющий собой будто бы рывок железной мышцы. Я даже не повернул голову на этот звук.

Автобус сделал первый кувырок, и я увидел, что пенсионерка, так долго сетовавшая на платный проезд две остановки назад, как кукла, кувыркнулась в воздухе, взмахнув старческими жирными ногами, и ударилась головой о... я думал, что это потолок, но это уже был пол.

Мы, я и мальчик, съехали вверх по поручню, я нагнул голову, принял удар о потолок затылком и спиной, отчётливо чувствуя, что темечко ребёнка упирается мне в щеку, в ту же секунду ударился задом о сиденье, завалился на бок, на другой и, наконец, едва не вырвал себе левую руку, когда автобус упал в реку.

Ледяная вода хлынула отовсюду одновременно. Один мужчина, с расплосованным и розовым лицом, посыпанным, будто сахаром, стеклянной пылью, рванулся в открытую дверь и мгновенно был унесён в конец салона водой, настолько холодной, что показалось — она кипит.

Я дышал, и дышал, и дышал, до головокружения. Я смотрел в форточку напротив, в которую, как ведьма, просовывала голову жадная вода. Помню ещё, как один из пассажиров, мужчина, карабкаясь по полу на очередном, уже подводном, повороте автобуса, крепко схватил меня за ноги, зло впился в мякоть моих икр, ища опоры. Я закрыл глаза, потому что сверху и сбоку меня заливала вода, и наугад ударил его ногой в лицо. Здесь я понял, что воздуха в салоне больше

нет, и пальцами ног, дёргаясь и торопясь, стянул с себя ботинки.

Автобус набирал скорость. Я открыл глаза. Автобус шёл на дно, мордой вниз. В салоне была мутная тьма. Справа от меня, на лобовухе, лежали несколько — пять, или шесть, или даже больше — пассажиров. Я почувствовал, что они дёргаются, что они движутся. Вода больше не била в салон, оттого, что он был заполнен.

Мальчик недвижно сидел у меня на руках, словно заснул.

Я повернул голову налево, увидел, что дверь открыта, и, оттолкнувшись от кого-то, лежащего под ногами, развернулся на поручне, схватился левой рукой за дверь, за железный косяк, ещё за что-то, видимо, где-то там же начисто сорвал ноготь среднего пальца, изо всех уже, казалось, последних сил дрыгая ногами, иногда впустую, иногда во что-то попадая, двигался куда-то и неожиданно увидел, как автобус, подобно подводному метеориту, ушёл вниз, и мы остались с малышом в ледяной воде, посередине реки, потерянные миром.

Тьма была волнистой и дурной на вкус, только потом я понял, что, кувыркаясь в автобусе, я прокусил щёку, и кусок мякоти переваливался у меня во рту, где, как полоумный атлант, упирался в небо мой живой и розовый язык, будто пытающийся меня поднять усилием своей единственной мышцы.

Если бы я мог, я закричал. Если бы задумался на секунду — сошёл с ума.

Подняв голову, я увидел свет. Наверное, никому солнце не кажется настолько далёким, как ещё не потерявшему надежды вынырнуть утопленнику.

До чего легко, по юности, мы с моими закадычными веснушчатými товарищами носили на руках друг друга, бродя по горло в воде нашего мутного деревенского пруда. Казалось, что вода обезвешивает любую тяжесть.

Какая глупость!

Судорожно дёргая ногами и свободной рукой, отбиваясь так же безысходно и безнадёжно от огромной мертвящей воды, как отбивался бы от космоса, я почувствовал, что не в силах плыть вверх, что не могу тащить на себе свои налипшие джинсы, свою куртку, свою майку, пышные наряды моего обвисшего на руке ребёнка.

Не имело смысла сетовать, что я потеряю несколько десятков секунд на то, чтобы снять хотя бы куртку. Если б я её не снял, через пару минут мы нагнали бы автобус с агонизирующими пассажирами.

Не переставая дрыгать ногами, но поднимаясь в тягучую высь, думается, не более пяти сантиметров в секунду, поддерживая мальчика левой рукой за живот, я попытался вылезти свободной правой рукой из рукава. Бесполезно...

Левой рукой, в пальцах которой был намертво зацеплен мой приёмьш, я дотянулся до правой. Большим пальцем левой я зацепился за правый засученный рукав куртки, сделал несколько нервных высвобождающих движений правой рукой и снова понял, что это бесполезно. Куртку мне не снять.

И тут меня осенило. Я дотянулся левой рукой до лица и схватил мальчика зубами, за шиворот.

...Через три секунды снятая куртка, покачиваясь, поплыла вниз.

Какое счастье иметь две свободные руки! Я сделал несколько рывковых взмахов обеими руками и снова отвлёкся на секунду от плавания, чтобы снять роскошные кеды моего мальчика. Я не видел, как они полетели нагонять мою куртку, но почувствовал, что сам немедленно ухожу вниз, и больше попыток растелешить себя и чадо не повторял.

...бился о воду, рвал её на части, я грёб, и грёб, и грёб.

В какой-то момент я понял, что голову мою выворачивает наизнанку. Будто со стороны я увидел её, вывернутую, как резиновый мяч, — шматок размягчённых костей, украшенных холодным ляпком мозга, ушными раковинами, синим глупым языком... и челюстью, в которой был зажат кусок джинсы.

Я извивался в воде, как пиявка, я вымаливал у неё окончания, я жил последние секунды, и никакая сила не заставила бы меня разжать зубы.

Я никогда не догадывался, что вода настолько тверда. Каждый взмах рук давался мне болезненным, разрывающим капилляры, рвущим мышцы, выламывающим суставы усилием.

Затылок мой саднило от тяжести, и рот мой обильно кровоточил. Сердце моё лопалось при каждом взмахе рук.

Задыхаясь, я уже не делал широких полных движений руками и ногами — я сучил всеми конечностями. Я уже не плыл — я агонизировал.

Не помню, как очутился на поверхности воды. Последние мгновения я двигался в полной тьме и вокруг меня не было жидкости, но было — мясо, кровавое, тёплое, сочащееся, такое уютное, сжимающее мою го-

лову, ломающее мне кости недоразвитого, склизкого черепа... Был слышен непрерывный крик роженицы.

Всплыв, я, каюсь, разжал зубы — разжал зубы и вдохнул, два моих расправившихся лёгких могли принять в себя всю атмосферу. Но тут же всё исчезло — я снова пошёл на дно.

Только потом я понял, почему это произошло: разжав зубы, я выпустил ребёнка; мои, существующие сами по себе, со сведёнными насмерть мышцами руки тут же схватили его, но тело моё некому было, кроме них, держать на поверхности, потому что ноги мои обвисли, как две дохлые рыбы с отбитыми внутренностями.

Даже не знаю, чем я шевелил, дёргал, дрыгал на этот раз, какой конечностью — хвостом ли, плавниками, крыльями, но уже не мог я, увидевший солнце, покинуть его снова.

И оно явилось мне.

Я вдохнул ещё раз. Я вдохнул ещё несколько раз и прикоснулся губами к темени моего ребёнка — оно было сырым и холодным.

Я лёг на спину и обхватил его за грудь. Левой рукой я принялся за свои джинсы. Ремень, пуговица, ширина... Одно бедро, другое... Это отняло у меня несколько минут. Джинсы застряли у меня на коленях, и я дёргал ногами и понимал, что снова тону, что не могу больше, и по лицу моему беспрестанно текли слёзы.

Мы опять пошли под воду, но здесь это случилось уже в состоянии, которое отдалённо можно назвать сознанием. Я успел глотнуть воздуха и под водой снова взял мальчика в зубы. Обеими руками стянул джинсы, как оказалось, вместе с исподним, и снова судорожно вылез вверх. Наверху ничего не изменилось.

На берегу стояли люди. На балконах домов у реки тоже стояли люди. И на мосту стояли люди, вышедшие из машин. Вдоль ограды на мосту, лая, бегала вислослая дворняга. Кто-то закричал:

— ...ребёнок!

Кто-то уже плыл к нам на лодке. Но я ничего не видел и не слышал.

Нас несло течением, и я начал раздевать своего тяжёлого, как смертный грех, ребёнка. Курточка, синяя, с отличным зелёным мишкой на спине. Голубенькие джинсики, заплатанные колготки. Свитерок всех цветов счастья, оранжевый, и розовый, и жёлтый, махровенький, я оставил, не в силах с ним справиться.

Вскоре меня подхватили чьи-то руки, и нас втащили в лодку.

— Дайте ребёнка! — велела мне женщина в белом халате. Лодочник без усилия разжал мои руки.

Всхлипывая, я следил за женщиной. Она заново творила жизнь ребёнку. Через несколько минут у него изо рта и из носа пошла вода.

I.

Выгружаемся. Вскрытое брюхо борта кишит пацанами в камуфляже. Десятки ящичков с патронами и гранатами, тушёнка и рыбные консервы, водка, мешки макарон. Какие-то бидоны. Печка-буржуйка...

Грязные солдаты-срочники с затравленными глазами курят “Астру”, сидят на брезенте, смотрят на нас. Юные пацаны, руки с тонкими запястьями.

Мы всю дорогу играли в карты. Я в паре с полукровкой-чеченцем по имени Хасан. Он блондин с рыжей щетиной, нос с горбинкой и глаза навывкате выдают породу.

Хасан после армии не вернулся в Грозный, где родился, учился и всё такое. Святой Спас, так называется город, откуда мы приехали, — здесь Хасан нашёл себе невесту и остался жить.

Сменил паспорт, взял русское имя. Парни всё равно зовут его Хасан. Потому что он нохча, чеченец. Теперь Хасан в составе русского спецназа едет навестить родной Грозный, быть может, пострелять в своих одно-